

Сергей Михайлович Соловьев

**История России с древнейших  
времен. Том 29**



История России с древнейших времен

Сергей Соловьев

**История России с  
древнейших времен. Том 29**

«Public Domain»

## **Соловьев С. М.**

История России с древнейших времен. Том 29 / С. М. Соловьев —  
«Public Domain», — (История России с древнейших времен)

Последний, двадцать девятый том сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». В двадцать девятом томе, оставшемся незаконченным, продолжено начатое в предыдущих томах повествование о царствовании Екатерины II, освещены события внутренней и внешней политики 1768–1774 гг.

© Соловьев С. М.

© Public Domain

# Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	24

## Сергей Соловьев

# История России с древнейших времен. Том 29. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. События внутренней и внешней политики 1768–1774 гг

## ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

*Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношения к другим европейским державам за то же время*

Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах, Керчи и Еникале, которых турки уступить никак не хотят, и конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охлаждает и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Еникале. Зегелин стал уговаривать рейс-эфенди, но тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания переговоров: согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное; Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Еникале зависит благосостояние Оттоманской империи; если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Еникале; в три или четыре месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно: если Россия уступит насчет Керчи и Еникале, мир будет заключен; но, если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира, но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц нажаловался моему государю на меня, что я внушал Порте: если она не заключит скорее мира, то весной австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушение, мне приписываемое, было бы самым

действительным средством образумить турок; и если бы в Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслам, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит венскому двору, будучи сделано не его министром». Но Румянцев не был доволен и прусским министром, он находил в его письмах «и волчий рот, и лисий хвост...». Все окрестности являют, писал Румянцев Обрезкову, что «дружья неприятелей наших и нам прямые враги суть; но наши приятели, напротив того, доброхотство и пособие им и нам размеряют собственно своею пользою и выгодою. Признали уже они артикулы, главнейшее запинание в совершении настоящей мирной неогоциации составляющие, более значащими в мнении, а не существенную опасность содержащими; но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить трактующих с нами к соглашению на оныя».

Между тем 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесений Обрезкова императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут; и российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сию пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписания турок. На это Совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезкова новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму; что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму; что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в военные; что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет и было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнение в собственных своих силах и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока Совет не представит ей причин более важных.

От 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склонностью Порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех вверенной ему неогоциации становится сумнительным, но и не без опасности быть скорому конгрессу разорванию». Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтоб не разорвать конгресса: зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее требования. Послали в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ: за все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые Порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Еникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокровища мира, то Россия и за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак-эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить: «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет, и войне не вечно же быть; лучше бы переговоры не разрывать, а, расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сию сторону Дуная и продолжать переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать, — писал Обрезков, — что я почти весь век свой с этой нацией изжил, но такого добропорядочного и добродетельного человека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса

не произвел в столице сильного впечатления: здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс-эфенди говорил ему: «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга; надобно, чтобы их хан признавал султана своим главою или чтобы султан подчинился хану; равенство здесь невозможно; это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Еникале все равно что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы».

Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и этою угрозою понуждать Порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие, и так заблаговременно, было бы власно, что разбудить турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры, причем не только не легко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению упреждены быть и от них и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что буде настоить сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устраять свои обороты, ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать в продолжение четырех месяцев? Мало ему было трех лет для совершения этих подвигов?»

Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в предположении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, т. е. чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ослабляем в виду, так сказать, врагов, на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имело содеятельность, какову он получил к своему возободрению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих нужнейших аммуничных вещей не привезено, а потому ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских. Я говорю с полною дружескою доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не стает уж для таких трудных изворотов, в которых не имею вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая твердого мира, надобно быть готовым к войне, а у нас сему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного».

Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не нетрудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли, и если часть каких запасов для одояния получена, то в сие только время принимаются обшивать солдат. Доставка сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие; итак, отверзтие кампании при исходе зимы придет ни по числу сил, ни по готовности у нас полного снабдения; но живу всегда вопреки русского присловья: *хоть не рад, да готов*, т. е. ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к

его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый, и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию; следственно, и защита земель пространных, приобретенных завоеванием, весьма разнствует от плаванья по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многия лета проводил я, следуя движениям любви к отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не льщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой ваш политический в самом жарком воспалении имеет средство к своему утолению; но наши схватки всегда кровопролитны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложенному даст подняться на ноги и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике, следственно, суд и обвинение тут неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других проникания».

От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление – «вынудить у неприятеля силою оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армиею или частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его армию». Уведомляя об этом Обрезкова, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по боге свидетелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проникание лучше всех видит наши к тому силы и удобство, особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, т. е. разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться; и по дружеству и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежища в избе, а, преодолевая суровство времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к действиям».

Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай, переслал ей мнения генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах; король прусский также советовал не переходить за Дунай – ничто не действовало, Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательное движение с выгодою для себя; попытки турок переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то дельвал Вейсман в 1771 году; попытки турок против Журжи и Слободзеи кончились для них очень неудачно. В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно свою деятельность, овладев Туртукаем. Но «случилось дознать и неудачу как следствие жребия военного, не всегда приверженного одной стороне»; по словам Румянцева, эту неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам раненый достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми и несколькими обер-офицерами. «Поверхность, неприятелем в сем разе приобретенная, ничего и наималейше не переменяет в нашем положении, – писал Румянцев, – да и утрата толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему пункту, а наиболее и по персональному моему доброжелательству к их фамилии чувствительно мне прискорбен сей случай. Между тем наши движения идут, чтоб заплатить врагам с лихвою. Г. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, и я в спешествовании дальнейшим действиям подвигаюсь берегом вверх сей реки».

Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил известить фельдмаршала о победе: 27 мая он напал при Карасу на неприятеля, стоявшего в 12000 пехоты и конницы, и нанес ему поражение; турки потеряли более 1000 человек убитыми; русским достался весь их лагерь с 16 пушками. После этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Горабала или Бали-Багаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба генерала одновременно с двух сторон подступили к неприятельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со своим движением суда, собранные для переправы. Турки оторопели и при первых выстрелах бросились в бегство; русская конница поскакала за ними и истребила более 300 человек; обоз достался победителям. Очистив назначенное для переправы место, Румянцев в тот же день велел перевозить войска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивши еще раз турок на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии.

Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Туртукая, гр. Григорий Орлов говорил в Совете, что по настоящему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему в прошлогднее свидание, а именно переправиться за Дунай между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло армии; визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, сам нашелся бы в опасности быть отрезанным; таким положением мы могли бы отворить себе путь за горы и, потревожив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день восшествия своего на престол, написала ему, что так как он сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сына его (Михаила) полковником, и желала божеской помощи во всех впредь за Дунаем предприятиях.

К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Мустафе придется опять быть отлично поколоченным после переговоров, разрыва двух конгрессов и перемирия, продолжавшихся почти целый год. Этот почтенный господин, по-моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, что переход через Дунай будет способствовать этому двояким образом: он вас обрадует и сделает султана сговорчивее».

Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками, овладение Силистриею оказывалось невозможным по причине сильного гарнизона, простиравшегося до 30000 человек; на предложение сдаться комендант отвечал, что русские не получают ни одного камня и ни одного гвоздя из Силистрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на русскую армию с тыла в то время, как с другой стороны на нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук-Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 убитыми, 25 пушек; но русские заплатили за это очень дорого: знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то что теперь турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев 24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти назад, на левый берег Дуная: страшно истомленную конницу нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили камышом, да и за тем нужно было посылать далеко; дороги трудные, а сражаться не с кем, турок не догнать. Фельдмаршал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на левую сторону Дуная. «Предвидя, – писал Румянцев, – что персональные мои неприятели выводят меня на пробу жестокою, тогда как силы, мне введенные, приведены в великое ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподданнейшему донести в. и. в-ству о всех трудностях в настоянии перехода за Дунай. Воображения мои тогдашние с испытанием настоящим в том токмо разнятся, что казавшееся с сей стороны многотрудным далеко больше найдено неудобным. Будучи на той стороне, бывшие со мною

там генералы остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю в. и. в-ства, имея токмо под именем армии корпус небольшой в 13000 пехоты на все действия с визирскими силами, которые, однако ж, побиты и рассыпаны, – словом не испытано разве только то, чего одолеть не может человечество. Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а лошади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть пред в. в-ством угнетающих меня теперь трудностей по пункту оборонительного положения, в которое не легко мне попасть с прежнею твердостью, рушившись из оногo до самой пяты. Еще я дерзаю изъяснить пред Вами дух усердного и верного раба о положении сопротивного дунайского берега по очевидному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, ибо толикого числа требует твердая нога, которой без того иметь там невозможно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отрезанию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпуса, не связывая тем руки наступательно действующего, который чрез леса и горы себе путь сам должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорбностию, что я не удостоиваюсь на письме видеть знаки монаршего благоволения, если только доходят к в. и. в-ству мои всеподданнейшие; сокрушает и то, когда ходатайство мое о многих здесь служащих не служит на их пользу и без того и упадает в подчиненных ревнование, которых и не имею ничем другим ободрить, да и многие мои донесения о недостатках и нужном ополчении не приобретают содеятельности; и чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на которое никто неправды положить не может, то находят во мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности вашей. Сознаю пред в. и. в-ством, что, служа не первую войну, пять лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и телесных сил, а полагая счастье свое в угождении высочайшей воле в. и. в-ства и в благе отечества моего, охотно я такового желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше находит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным предметам».

15 июля в присутствии императрицы читали в Совете официальное донесение Румянцева о возвращении на левый берег Дуная. Впечатление было сильное: говорили, что возвращение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Высказалось неудовольствие против Румянцева: говорили, что его требования слишком велики, нет средств увеличить Первую армию в таких размерах, как он хочет; зачем он перешел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей; сражения с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили армию по крайней мере на два месяца. Но как ни сердились, помочь делу можно было только удовлетворением, хотя отчасти, требованиям фельдмаршала. Захар Чернышев предлагал, что по настоящему положению польских дел можно послать в Первую армию несколько полков из находившегося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала надобно отвечать на его донесение, уведомить его об увеличении его армии. Совет согласился, согласился и на другое предложение Чернышева – взять из Польши Бибикова, оставив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама прочла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям немедленно было исполнено.

Письмо Румянцева было очень ловко написано: он извещал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя сильное негодование, но, чтобы это негодование не высказалось, в конце находилось внушение, что если есть человек, который способен вести дело лучше, то он готов передать ему начальство над войском; тут не было прямой просьбы об увольнении, а вызов приискать ему подобного или лучшего. Такого приискать, разумеется, не могли; могли уволить Голицына, потому что в виду был Румянцев, но другого кагульского победителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, который бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было предвидеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось решением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его требования относительно наград подчиненным. Но

Румянцев нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екатерина отвечала ему также очень искусно, с полным достоинством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что он поведет дело как нельзя лучше, и вместе с прочим внушением, что ему не следует предполагать врагов, которые могут вредить ему при ней, с указанием, что и сам он виноват в озлоблении своей армии; наконец, дано понять, что намек фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова уволить его; но здесь так искусно была отстранена всякая тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и действительно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя истинное благо империи, – писала Екатерина, – и для того желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай не столь мне приятно было, нежели первая ваша с армиею переправа чрез сию реку, с которою я вас столь искренно поздравляла письмом моим; ибо мню, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев сряду уши набиты будут: сии сами собою, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокую, тогда как силы, вам вверенные, приведены в сильное ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства колько возможно подробнее, откровенно вам скажу, во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, окромя от вас, не слышала, да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестями, ими же часто выдуманнми, приводят в несогласие, терпеть не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, окромя таковых подлых. Подобным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожа их; людей же, качествами своими и заслугами себя столь же, как и чинами, от других отличивших, как вы, я не привыкла инако судить, как по делам и усердию их; итак, надеюсь, что вы по прошедшему времени, в которое вы толикие имели опыты моего благоволения к вам и многочисленным вашим заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем и о будущем моем к вам расположении... Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моегоobelиска, по случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу. Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сии храбрые люди и что лошади дошли до крайнего изнурения; но надеюсь, что вашим же известным мне об них всегдашним попечением и люди, и лошади паки придуть будут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное положение рушилось до самого основания и вам не легко будет оное восстановить, сие себе представить могу небеструдным для вас, ибо чрез месяц ваша позиция три разные вида получила; а именно: первая – ваше положение по сю сторону Дуная, потом – наступательная переправа через Дунай и за сим – обратный поход ваш, совокупленный с восстановлением паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми трудностями и заботами. Но, зная ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что, в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете... Что же ваши телесные силы чрез войну, веденную пять лет сряду, пришли в ослабление даже до того, что вы охотно желаете увидеть такового на вашем месте, который бы так, как вы, полагал счастье свое в угождении воле моей и в благе отечества, о сем осталось мне сердечно жалеть, и, конечно, колько бог подкрепит телесные и душевные силы ваши, империя не инако как с доверенностию от вас ожидать должна дела, соответствующего уже приобретенной вами ей и себе славе; но со всем тем если по человечеству свойственным припадкам вы, к общему сожалению и моему, не в

силах себя нашли продолжать искусное ваше руководство, то и в сем случае я бы поступила с обыкновенным моим к вам, в подобных обстоятельствах находящимся уважением».

Румянцев в ответе своем (от 18 августа) признал, что почувствовал много отрады от слов и милостей государыни, и не хотел оставить без возражения слов ее относительно его врагов: «Что я их, к несчастью, имею, то к чему мои объяснения о том пред в. и. в-ством, яко монархиною, премудрою и проникающею глубоко во все действия и их причины, которыми они против меня прямо идут, и своими новоизобретениями в опровержение моих представляют и подобности, и возможности, и удобства, и иной вид в счете дают на бумаге войску, нежели оный есть в деле, и тем ставят меня в исполнении непреодолимых обстоятельств или неготовым, или неискусным, и всяческими образы смешивают к получению награждения прямых военноподвижников не только наряду старшинства с находящимися вне войны, но и с теми, кои, под разными видами явно удаляясь от службы и нередкие в нареканиях и неудовольствиях против меня[имея], по новым штатам находят для себя выгодные и полезные места, присвояют двойное жалованье при прежнем отправлении службы и должности; изъедают (т. е. враги Румянцева) из ведения моего чинов, привязанных прямо ко мне и неотлучно бытностию, по вверенному над армиею начальству; а чрез то честолюбие как лучшая подпора в службе и уважение к начальнику упадет, негодование же и происки умножаться должны». Румянцев оканчивает письмо так: «По дальнему расстоянию не остается мне надежды заимствовать подкрепление в нынешнюю кампанию от полков, назначенных из польского корпуса; в противном же усердному желанию моему состоянию и при истощении крайних моих сил, быв и теперь несколько уже дней в постели, надеюсь на высочайшую милость в. и. в-ства, щедрым образом всем верно и усердно служащим являемую, что и мне позволите на подобный случай отлучиться по крайней мере куда-нибудь под кровлю ради спасения последних моих жизненных сил, ибо, терпя всю суровость воздуха, в нынешнюю наипаче кампанию, чрез так чувствительные и жестокие перемены погоды наипоразительнее разорено мое здоровье».

В описании действий врагов своих Румянцев ясно указывал на Чернышева, управлявшего военною коллегией; он мог подозревать и Григория Орлова, но тот по крайней мере прямо написал ему, что публика негодует на его образ ведения войны. Румянцев отвечал: «Получа в. с-ства благосклоннейшее письмо, видел я в нем, как велико ваше ко мне усердие и сколько я несчастлив в благоволении к себе публики. Если бы такой был парламент, в который бы можно позвать общество на суд, и если бы и теперь решались дела примером судилища, что Древняя Греция имела под именем ареопага, я бы счет повел с нашею публикою, кто из нас против кого неблагодарен: я ли еще оной, или уже она мне должна? Век провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что ощущаем, получа воздаяние своим заслугам. Все трудящиеся имеют меру и цену своим делам, но для одного меня предоставлено всегда делать и тем только заслуживать негодование. Пускай забыты дела прежние и я их не вспоминаю, но неужели настоящее положение мое не трогает публику, когда торжествуют войска над оттоманами, где не сражаются в помощь водные стихии, но все учреждает непрерывный труд? Из Рима и из Греции неудовольствие публики прогоняло лучших полководцев, их заслуги припоминали только в нужде, а иногда и поздно. И мой жребий, по-видимому, к тому же преклоняет мое отечество: я был уже гоним от общего неудовольствия и готовиться должно и в старости ту же претерпевать участь, когда моему несчастью причина токмо та, что я не умею себя рекомендовать инако как моею службою. Я уверен, что мой милостивый граф не приемлет участия в публичных обо мне заключениях; итак, я вашу милость и дружбу ко мне поставляю стеною, о которую сокрушатся все ухищрения ищущих мне зла. Между тем скоро мы станем уже пить воду дунайскую».

Но к несчастью, дунайскую воду должны были пить дважды, и, что бы ни писалось из Петербурга, Румянцев был убит горем вследствие невозможности остаться за Дунаем. «Боль во мне душевная не может исчезнуть», – писал он Екатерине, которая находилась также не в завидном состоянии духа.

Английский посланник Гуннинг писал своему двору, что никогда не видал императрицы в таком огорчении; огорчение это, по его мнению, происходило не оттого, что она опасалась теперь вторжения турок на левую сторону Дуная, но оттого, что вследствие непрерывных успехов она не может перенести малейшей неудачи. 19 августа она говорила в Совете: «Требуется вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет, по крайней мере и сколько моя память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 300000 человек рекрут собрано со всей империи. В том я с вами согласно думаю, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для пресечения войны по сю пору бесплодны были, хотя мы неприятелю нанесли много ущерба и сами людей довольно числа лишились. Из сего, естественно, родиться может два вопроса, которые я себе и вам сделаю. Первый: так ли мы употребляли сих людей, чтоб желаемый всем мир мог приблизиться? Второй: после сего набора что вы намерены предпринимать к славе империи, которую ни в чем ином не ставлю, как в пользе ее? Оставляя говорить о прошедших, лаврами увенчанных кампаниях, кои неприятеля принудили к мирным переговорам, в ответ на первый сделанный мною вопрос скажу о настоящем положении дел, что, к сожалению моему, вижу я, что сия кампания повсюду бесплодно кончится или уже и кончилась и осталось нам помышлять, не теряя времени, о будущем. Дабы очистить второй мною сделанный вопрос, я повторяю, чтоб, не теряя времени, помышлять о том, что в предыдущую кампанию предпринимать нам занужно почтено будет; разве за полезно почтете, чтобы сухопутные и морские наши против неприятеля силы остались точно в том положении, в каком ныне находятся; положение не действующее, которое я за полезно для приближения желаемого нами мира не почитаю и которое, по моему мнению, нам скорее вторую сзади войну нанесет, нежели настоящую прекратит. Из рекрутского, мне предлагаемого вами набора заключаю я, что вы упражняетесь снабдением армий. Напомнить я за нужно вам нахожу, дабы вы Азовского моря эскадру из памяти не выпускали и оную по возможности привели в наиудобнейшее для дел состояние. Но наипаче вас прошу и вам повелеваю: со всякою ревностию и усердием стараться единодушно сделать план, снабдить к будущей кампании всех разных командующих силами нашими такими наставлениями, дабы они вообще нашлись в состоянии действовать против общего неприятеля и наши употребленные к тому силы к одному бы предмету ведены были, то есть к достижению блаженного мира, в чем да поможет нам всевышний. Еще раз весьма вас прошу, чтоб все сие не осталось при сих на бумагу написанных словах». Подписав указ о рекрутском наборе, Екатерина стала говорить о необходимости беречь новобранцев; некоторые члены Совета представили, что смертность между ними происходит от перемены образа жизни и необыкновенных переходов вследствие пространства империи; императрица приказала, чтоб Сенат вместе с гр. Чернышевым рассмотрел и принял надлежащие меры к пресечению случающихся при наборах злоупотреблений и чтобы для облегчения и сбережения этих непривычных людей армия комплектовалась гарнизонными солдатами, а гарнизоны – рекрутами.

Вследствие этих распоряжений в заседании 27 августа Чернышев читал свое мнение, что по принятым теперь мерам для увеличения Первой армии к будущей кампании до 116000 человек надобно потребовать от фельдмаршала заблаговременно мнения, как он намерен действовать; что с увеличенной таким образом армией, кажется, можно, оставя на этой стороне Дуная нужное число войск, перейти на ту сторону и там утвердиться; что Вторая армия, защищая по-прежнему Крым, может с помощью флота овладеть Кинбурном; если Первая армия не будет в состоянии перейти за Дунай и останется в настоящем положении, то надобно отделить от нее значительный корпус в помощь Второй армии для взятия не только Кинбурна, но и Очакова, а между тем надобно стараться достигнуть желаемого мира переговорами, отставши от некоторых условий, особенно от требования Еникале и Керчи, приобретение которых более вредно, чем полезно (?). Тут Панин удивил всех предложением, нельзя ли для сохранения

рекрут послать в армии солдат из гарнизонов из здесь находящихся полков, а их место занять рекрутами. Чернышев отвечал, что в прошедшее заседание императрица именно приказала это сделать. В заседании 2 сентября генерал-прокурор предлагал, нельзя ли дать графу Алексею Орлову свободу не пропускать провозимые в Константинополь съестные припасы посредством договора с Англиею; но на это Панин отвечал, что прежнее запрещение провоза припасов возбудило неудовольствие не только Франции, но и всех торгующих держав и что, не будучи в состоянии им там противиться, мы не можем теперь возобновить это запрещение. Члены Совета так желали мира, что соглашались на уступку татарам всех городов, в том числе Керчи и Еникале, даже на ограничение для России плавания по Черному морю. Один Григорий Орлов был противного мнения и доказывал, что никакие уступки не помогут, турки не согласятся на совершенное отделение татар, разве в крайности. Прусский король предлагал три средства к достижению мира: 1) принудить к тому Порту силою оружия; 2) пригласить к содействию австрийский двор; 3) отстать от некоторых условий, на которые Порты упорно не соглашается. Екатерина заметила по поводу этих предложений: «Заставить турок силою подписать мир. Для достижения этого надобно, чтоб в армии фельдмаршала Румянцева было действительно 80000 человек; кроме того, надобно заготовить магазины на целый год, надобно иметь на Черном море флот для овладения Варною. Предприятие требует больших издержек и будет стоить множества народа. Пригласить венский двор содействовать этому великому делу диверсией со стороны Белграда – это будет наименее выгодно для России, ибо венский двор захочет извлечь для себя такую значительную пользу, которая не будет согласоваться ни с действительным интересом России, ни с интересом других европейских государств. Уступить в некоторых условиях, особенно тяжелых для Порты, пожертвовать некоторыми выгодами в пользу мира, вознаградить себя Очаковом или Бендерами за уступки. Первое есть самое блестящее, но и самое опасное; второе даже самое слабое и наименее политичное; третье находится в середине между обоими; это путь самый верный, и можно считать его самым благоразумным».

В ноябре получено было в Петербурге донесение прусского министра в Константинополе, что турки могут уступить России Кинбурн, если она отстанет от требований Керчи и Еникале. Мы видели, что и прежде в Совете соглашались уже не требовать Керчи и Еникале; и теперь начались толки, что приобретение Кинбурна может быть нам полезно как для постоянного содержания на Черном море флота, так и для заведения в той стороне торговли не только с турками, но и с Польшею по удобству водяного сообщения из него; что для этого надобно будет основать на Днепре ниже порогов торговый город, которому Кинбурн, отрезанный каналом от твердой земли, служил бы, как Кронштадт Петербургу; а для сообщения с Кинбурном сухим путем должно получить нам от татар весь левый берег Днепра верст на пять шириною. Гр. Панин, «министр иностранных дел», как его начали называть, представлял, что Порте трудно отказаться от Керчи и Еникале в нашу пользу, а нам неудобно их содержать, и требовал, чтоб прусскому министру в Константинополе было поручено устроить дело соглашения на этом основании. Но Орлов опять представил свои возражения: Кинбурн, крепость небольшая, не имеющая гавани, не может вознаградить за уступку Керчи и Еникале, не может принести никакой пользы; торговля будет подвержена затруднениям по причине порогов и мелей; и если уже непременно нужно будет отдать Керчь и Еникале татарам, то должно стараться получить вместе с Кинбурном Очаков и всю землю, лежащую между Днепром и Днестром, не допуская татар селиться в Бессарабии. Ему возражали, что турки на это не согласятся. По случаю этих споров в Совете признались в ошибочности плана относительно независимости татар, признались, что «на совершенное татар от турок отделение потребно еще много времени и трудов». Сама Екатерина пристала к тому мнению, что турки не согласятся на уступку Очакова. Орлов представлял, что можно согласиться на сие разорение; что тогда, выговорив в трактате свободу обеим сторонам строить крепости, можем построить вместо Очакова лучшую крепость; если мы будем иметь землю между Днепром и Днестром, то станет выходить множество мол-

даван и валахов и скоро всю ее заселят, земля эта станет тогда преградой между турками и татарами, пресечет между ними всякое сообщение сухим путем. Захар Чернышев возражал, что земля эта обойдется нам дорого, нужно будет заводить там крепости и держать в них гарнизоны. Орлов отвечал, что нет нам никакой надобности в крепостях. Кто-то заметил, что у татар будет плохая вольность, если оставить за султаном как калифом верховную власть в верховных делах, если допустить, что татарские судьи будут определяться константинопольским муфтием. Панин на это повторил признание, что независимость татар вдруг утвердить никак нельзя, что это дело еще много трудов потребует. Наконец, Екатерина приказала чрез прусского министра внушить туркам, что Керчь и Еникале оставлены будут татарам, но за это Россия должна получить Очаков и Кинбурн, и при этом объявить, что императрица никогда не отступит от условий о татарской вольности и от плаванья по Черному морю, хотя бы война продолжалась еще 10 лет. Когда Екатерина вышла из Совета, Панин предложил на его решение вопрос: как заключить мир с Портою, непосредственно ли или посредством австрийского и французского дворов? Совет решил, что непосредственно, хотя бы мы этим способом и не получили тех выгод, какие могло бы нам доставить постороннее посредство.

Как ни протестовал Румянцев против тяжелого впечатления, произведенного его обратным переходом за Дунай, он видел хорошо, что нельзя дать году окончиться под этим впечатлением. В октябре он отправил за Дунай два отряда войск под начальством генерал-поручиков барона Унгерна и князя Долгорукого, которые напали на турок у Карасу и нанесли им совершенное поражение: весь лагерь с 11 пушками, 18 знамен, три бунчука, множество военных припасов досталось победителям; турки потеряли 1500 убитыми и 772 пленными, в том числе был трехбунчужный паша Омер; город Базарджик, оставленный неприятелем, был занят русскими. Унгерн и Долгорукий немедленно отправились далее, чтоб схватить Варну и Шумлу, по выражению Румянцева. Генерал-поручик Потемкин в то же время осаждал Силистрию, и на помощь к нему двинут был генерал-поручик Глебов. Румянцев воспользовался этими успехами, чтоб отделаться от составления плана для будущей кампании, которого у него требовали из Петербурга. Он писал императрице: «Я питаю и теперь в себе ту же прискорбность, с которою поступил я на обратный переход из-за Дуная; но в. и. в-ство в моих донесениях кроме причин, к тому нудивших, соизволили видеть исполнение, в том последовавшее, согласно совета всех генералов, из которых, ежели бы хотя один тогда вызвался знать лучшие к чему-нибудь способы, я бы, конечно, в том каждому последовал. Я ждал времени и случая и сими обоими воспользовался знаменитее, нежели иногда от самых больших предположений. Плен из неприятельских войск немалый, и между оным первостепенных чинов; получили всю артиллерию неприятельскую; и город Базарджик был в наших руках без всякой почти потери и без пушечного выстрела, ибо меры наступления и действий наших толь удачно приняты в сию пору, что неприятель толико стеснен и нуждою и страхом, что бежит от лица идущих на него войск, потеряв свой стан и лишась толь нужных ему приготовлений для зимы. Планы, обыкновенно делаемые в начале только войны или в начале кампании для согласного учреждения Движений и содействий, предполагаемых от разных и дальних пунктов или в общем деле с союзниками, бывают, однако ж, подвержены нередкой перемене, но при сближении к неприятелю предается тогда искусству военачальника располагать дальние предприятия на него по видимой на то время и удобства, и предстоящим обстоятельствам; и я долгое уже время со вверенными мне войсками разделяю с неприятелем, и то не везде, одною только рекою; следовательно, сколько ежедневно может [неприятель] переменять свое положение, столько неудобно, а наипаче теперь, назначать и нам свои против него действия на будущее время, которые, по моему мнению, зависят более от случаев и начального на то время усмотрения, ибо сии последние части открывают путь к знаменитым предприятиям, нежели великие предположения быть могут выполнены без препятствия и затруднения».

Приехавший с этим письмом 14 ноября кн. Васил. Долгорукий обнадеживал императрицу, что дней через шесть могут быть получены известия об успехе Унгерна и кн. Юрия Долгорукого. Но прошли две недели с лишком, и 29 ноября получено известие, что предприятие Унгерна на Варну не удалось, а кн. Долгорукий, сделавши один переход к Шумле, возвратился назад к Карасу. О том, что делалось под Силистриею, фельдмаршал ничего не писал. «Что у Силистрии произошло, – писала Екатерина Румянцеву, – о том вовсе вы не упоминаете и оставляете меня в глубоком неведении, а мысли мои в произвольном волнении, которые, однако ж, более склонения имеют ни малейшей полагать надежды на бомбардираду, с которой город не возьмется, ниже больший ему вред не причинится. Но хотя следствия у Карасу произведенного бою не были таковы, как на первый взгляд они обещали быть, однако же не менее сие дело подтвердило, с одной стороны, утвердившиеся мнения о храбрости наших войск и что в поле сей неприятель поверхности не будет иметь в теперешнем оною состоянии и обстоятельствах, лишь бы где атакован был, а с другой – не может иначе как полезно быть для дел наших всякое за Дунаем ваше предприятие; и тут, конечно, всякий ваш шаг споспешествует или отдаляет народный покой и тишину, совокупленную с блаженством оною. И в таком виде с немалым удовольствием услышала я о карасуеком деле; сожалею только по позднему годовому времени, что все сие не может иметь толиких польз, как из того произойти могло, если бы предпринималось месяцев с шесть тому назад». Сделав таким образом внушение Румянцеву, что он сделал дурно, вернувшись из-за Дуная, что на нем лежит ответственность за продление тяжелой войны, Екатерина продолжает: «Но дабы будущий год также по-пустому не прошел и дабы недостаток в пропитании опять не служил препятствием к действию, не могу оставить вам сызнова накрепчайшим образом подтвердить, чтоб вы старались к будущей кампании наполнить ваши подунайские магазины так, как я к вам писала, дабы действиям вашим на супротивном берегу не могло причиниться остановки, и кампания та не прошла без достижения мира сильным употреблением оружия, о чем немедленно от вас ожидаю много уже раз мною от вас требуемого мнения, которое, если еще долее замедлится, опасность настоит, что не ко времени приспееет; и, следовательно, на будущий год во всем паки опоздать можем, в чем ни пользы, ни славы, ни чести не вижу. Каковы бы усердие и ревность в сердце империи служащих знаменитых людей, как вы, ни были, каковы труд и рвание, мною ежечасно прилагаемые, ни будут, но свет вас и меня судит по одним успехам нашим; сии нас в мыслях людских оправдают (оправдывают) и обвиняют попеременно, а наипаче в теперешнее время, когда после пятилетней счастливой войны подданные ждут мира единственно от действий ваших». 30 декабря Совету объявлена высочайшая воля: предписать гр. Румянцеву, чтоб он в будущую кампанию по взятии Варны и разбитии визиря в Шумле не полагал Балканы пределом военных действий. Положено заготовить к нему рескрипт, где, выразив эту волю, оставить производство действий за Дунаем на его благоусмотрение.

Разрыв мирных переговоров вызвал к деятельности и русский флот. Еще в сентябре 1772 года новоприбывшая из Балтийского моря эскадра под начальством капитана Коняева сожгла при Патросе 16 турецких судов; в то же время русские суда «делали неприятелю разорение и тревогу» у берегов Египта и Сирии, где поддерживали восставшего против Порты египетского пашу Алибея. В 1773 году русские корабли явились снова у берегов Сирии под начальством капитана Кожухова. Друзы обязались признавать над собою покровительство России и воевать с турками, пока русские воюют с ними; русские осадили Бейрут, принудили его к сдаче и отдали крепость друзьям, которые по условию заплатили им 250000 пиастров; деньги эти были разделены по эскадре, причем десятая доля пошла главному командиру над всем флотом. Между начальниками судов в этих экспедициях мы видим греков и южных поморских славян, которые, по отзыву Спиридова, «для своих прибылей гораздо храбрее, нежели как из одного только жалованья служили». Любопытно, что Орлов запретил нейтральным судам вход в Дарданеллы и предписал Спиридову, чтоб тот и при постановлении условий перемирия настоял на этом

запрещении. Но Совет решил изъяснить Орлову, что это может не только удержать турок от заключения перемирия, столь нужного для России, но и обратить против малочисленного русского войска все силы и притом ввести нас в новую войну с «ненавидящими нам» французами.

Императрица была недовольна тем, что флот, не имея десанта, не мог сделать ничего важного, не мог помочь сухопутной армии принудить турок к заключению мира. Осенью 1773 года находились в Петербурге гр. Алекс. Григор. Орлов и контр-адмирал Грейг. В Совете происходили любопытные рассуждения по поводу их требований. В заседании 3 октября императрица спросила членов Совета, с какою целью они хотят послать новую эскадру в Архипелаг; находящийся там флот стоит много, а не может наносить вреда неприятелю. «Если он, – сказала Екатерина, – может быть употреблен для какого-нибудь предприятия и надобны будут на него сухопутные войска, то я беру на свое попечение их доставить», Ей отвечали, что эскадра отправляется по требованию гр. Алексея Орлова для перемены обветшалых кораблей, и если флот не находит способа вредить неприятелю, то все же облегчает сухопутную армию, отвлекает от нее неприятеля. Императрица приказала при будущих рассуждениях о флоте приглашать в Совет гр. Алексея Орлова и прибавила, что, любя порядок, почитает своею обязанностью наблюдать, чтоб ничто в ее империи не оставалось без пользы. Через три дня, 7 октября, в Совете присутствовал Алексей Орлов. Императрица спросила его, в каком положении находятся дела в Архипелаге и нельзя ли извлечь из флота большую пользу. Орлов отвечал, что из находящихся там кораблей пять совсем обветшали, что в нынешнюю кампанию он намерен был разорить Салоники и Смирну для пресечения привоза запасов к неприятелю чрез эти места, но болезнь принудила его оставить флот. «Я не думаю, – говорил Орлов, – чтоб неприятельский флот мог появиться в архипелаге; турки с тех пор, как узнали малочисленность наших сухопутных сил там, уж не так их опасаются; побеждаемы они были малым числом, потому что обыкновенно пугаются всего того, о чем не знают, но, пришедши потом в себя, принимают достаточные меры». Тут начал говорить гр. Григорий Орлов: «Это свойственно туркам, как и всем невеждам; потому-то и не надобно давать им время на размышление, а стараться пользоваться их замешательством; также надобно поступать с ними и при мирных переговорах; этим средством можно скорее получить желаемое». Императрица заметила, что, по ее мнению, полезнее предпринять что-нибудь на одном европейском берегу как ближайшем к неприятельской столице. На это Чернышев и Алексей Орлов отвечали, что с малым числом войск нельзя утвердиться на этом берегу, где неприятель может собраться тотчас в числе 40000, и потому предприятие может принести одну пользу – встревожить турок на время и привлечь их силы в ту сторону. Гр. Панин заметил, что отправление в Архипелаг новой эскадры может причинить неприятелю новые беспокойства и он надеется, что зимою турки возобновят мирные переговоры. Императрица отвечала на это: «Мое намерение состоит в том, чтобы, не полагаясь на заключение мира, приняты были сильные меры для достижения этого к будущей кампании; долгая война приводит народ в уныние, и потому никто так мира не желает, как я. Надобны ли во флот сухопутные войска и сколько, довольно ли 20000?» Алексей Орлов отвечал, что с 20000 мог бы он идти прямо на Константинополь. Императрица спросила: «Нельзя ли овладеть Галлиполи; я бы могла доставить на флот четыре или пять тысяч иностранного войска». Чернышев отвечал, что от иностранного войска будут большие неудобства; а Панин заметил, что враждебные державы, узнав об этом, могут выставить препятствия. «Кроме всех неудобств при употреблении иностранных войск, – сказал Алексей Орлов, – всякий успех будет им приписан; для избежания мнения, что мы без англичан ничего сделать не можем, я всегда старался употреблять, сколько можно, своих офицеров». Императрица на это заметила, что при Петре Великом были примеры употребления иностранных войск и надобно сравнивать неудобства с выгодами. Екатерина вышла из Совета, выразив ясно свое неудовольствие на ход войны. «Флот, – сказала она, – не делает ничего, и армия едва действует, а неприятель этим пользует-

ется, и все это происходит собственно от нас». По выходе императрицы Алексей Орлов предложил Совету отправить с Грейгом новую эскадру, не теряя удобного времени, разрешив ему бить встречных варварийцев; Совет согласился. Орлов предлагал также не заключать с турками перемирия, чтоб не дать им в это время пользоваться советами французов. О себе Орлов говорил, что видит волю императрицы, чтоб он продолжал начальствовать над флотом, от чего как усердный сын отечества не уклоняется, но не может отвечать за себя в исправном исполнении возложенного на него дела, потому что подвержен частым болезненным припадкам, 21 октября Грейг вышел из Кронштадта с двумя кораблями, двумя фрегатами и шестью транспортными судами.

Положение дел в Крыму также должно было возбуждать неудовольствие Екатерины, причем она имела большее право говорить, что это происходит собственно от нас. Мы видели, что калга Шагин-Гирей выехал из Петербурга в Крым. Этот татарский дофэн недаром привлек к себе внимание Екатерины и двора ее своими способностями. Перенесенный из степей в верхний слой петербургского общества, он отдался в плен цивилизации, выговорив себе только сохранение татарской шапки и памяти о происхождении от Чингис-хана. Но эта память жила в нем не напрасно. Чудеса цивилизации, могущество, которое, по-видимому, она давала прежним данникам татарским, возбуждали в Гирее страшное честолюбие. Он хотел во что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком, предложенным Россией, хотел с ее помощью утвердить независимость Крыма, отторгнуть его навсегда от обветшавшей Турции, сделаться ханом, но он не хотел на этом останавливаться, не хотел менять зависимости от Порты на зависимость от России. Он хотел приобрести могущественные средства цивилизации, могущие дать ему силу, умение поддержать свою самостоятельность. Ничтожность крымских владений, разумеется, бросалась при этом в глаза как главное препятствие, но Шагин-Гирей знал, что Чингис-хан и Тамерлан начинали также с малого и доходили до обширнейших империй; он уже мечтал о близком Кавказе, о его воинственном населении, которое может так хорошо служить для завоевательных замыслов, о сокровищах, которые лежат нетронутыми в недрах пресловутых гор и которые должны вскрыться на голос цивилизации и обогатить новую черноморскую империю Гиреев.

С такими-то мечтами возвратился Шагин в Бакчи-сарай; здесь он продолжал высказывать приехавшему с ним кн. Путятину свое чрезвычайное усердие к России, открыл ему, что существует в Крыму партия, желающая возвратиться в турецкое подданство. «В надежде на бога и на заступление императрицы, – говорил калга, – по сие время вижу себя в силах управиться с общими злодеями. Я зашел теперь в лес, издавна без присмотра запущенный; если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубить». О брате своем хане он говорил: «Может ли человек, сев на необъезженную лошадь, ехать по воле своей надлежащим путем, когда отдал другому повод в руки?» Но скоро Шагин был озадачен и справедливо раздражен уступчивостью России, которая в переговорах с Турцией соглашалась признать власть султана над Крымом в духовных делах, вследствие чего все судьи в Крыму должны были назначаться константинопольским муфтием и по пятницам должно было совершаться всенародное молебствие за султана. Шагин говорил Путятину: «Все это не только знак верховной власти Порты над Крымом, но и знак прежней приверженности его к ней, так как единство веры нисколько не обязывает Крым сохранять свою связь с Турцией; есть много магометанских владений, которые не только не подвластны Порте, но и ни малейшего сношения с нею не имеют». Слезы навернулись на глазах у Шагина от досады, и он продолжал: «Если так будет, то ни брату, ни мне здесь оставаться нельзя: наше состояние будет похоже на состояние человека, у которого над головой висит большой и плохо прикрепленный камень, могущий всякую минуту его задавить; подданные наши при таком положении по непостоянству своему и скотским нравам будут иметь возможность делать непрерывные возмущения как сами по себе, так еще более по приискам султанов (крымских Гиреев), которых немало в Турции».

От 13 марта Путятин писал в Петербург: «Велико здесь общее к нам недоброжелательство; калга показывает чистосердечное к нам усердие, противоборствуя этому недоброжелательству. Все злоумышленные вероломцы здешнего общества его ненавидят, страшатся и простирают мысли свои, как бы его избыть». Калга говорил Путятину: «Я и прежде хорошо знал беспутство своих одноземцев, но теперь нашел их вдесятеро еще хуже и развратнее, чем были прежде. С людьми, такими неблагодарными, русским и мне враждебными, остаться я не могу, потому что обещал ее и. в-ству быть навсегда ей верным; если дела будут продолжаться в таком же беспорядке и сил моих неостанет России и себе быть полезным, то, покинув родную страну, принужден буду искать убежища под покровом императрицы».

Хан. по возвращении калги собрал совет из знатнейших лиц. Шагин-Гирей превозносил щедроты русской государыни и объявил, что будет всегда благодарен за это и усерден к русскому союзу, ибо видит в этом союзе прочное и постоянное благоденствие Крыма вообще и каждого его жителя в особенности. Потом спросил у собрания, что произвело непостоянство в их поведении, что побудило к коварству, обману, нарушению клятвы, что имеют они в виду: желают ли вольности, которая как главное в жизни человеческой блаженство доставляется покровительством ее и. в-ства. «Мы находимся между двумя могущественнейшими державами в мире, – был ответ, – обеих их, России и Турции, мы одинаково боялись; находясь в опасности от первой, соглашались на все ее предложения и в то же время, боясь другой, сносились с нею, представляя привязанность к прежнему своему состоянию. Мы обмануты, огорчены Россиею, которая отнимает у нас собственные наши земли и, обращаясь с нами лживо, во всех своих поступках при всяком почти случае дает нам чувствовать свою жестокость». Калга возражал, что ничего подобного Россиею не сделано, и если б она хотела мстить им за их вероломство, то обратила бы их земли в пустыню и лишила бы их дневного пропитания, что и сделается, если они, ведя себя коварно относительно России и ставши подозрительны Порте, будут продолжать пагубное колебание. «Если, – говорил Шагин, – вы хотите быть вольными с помощью России, то выдайте мне немедленно возмутителей общего спокойствия, подавших повод к нарушению клятвы». Шагин поступил неосторожно, повернул слишком круто; на его требование отвечали глубоким молчанием. Раздраженный этим калга не мог уж остановиться и потратил последний заряд. «Данные вами клятвы, – сказал он, – и полномочие на меня возложенное при отъезде в Россию обязывают вас мне повиноваться; но если вы откажетесь от повиновения, то я принужден буду уехать из отечества». Ему отвечали: «Мы вас не удерживаем, на ваше место найдется много людей, а, впрочем, хан ваш и наш государь, ему одному обязаны мы повиноваться».

После этого Шагин-Гирей сообщил командующему Второй армией кн. Долгорукому о своем желании сделаться самовластным ханом над татарами, ибо только в таком случае он может утвердить самостоятельность Крыма; иначе же он там оставаться не может. Совет, получивши донесение кн. Долгорукого, рассуждал, что взгляд калги-салтана совершенно основателен и справедлив, но все же при настоящих обстоятельствах поступить так нельзя: эта перемена нарушила бы наши договоры с татарами и подала бы туркам повод опять склонять их на свою сторону; на совершенное отделение татар от турок надобно употребить еще много лет. Решено, чтоб гр. Панин отправил к Шагин-Гирею письмо, где похвалил бы калгу за его усердие, объяснил в общих выражениях невозможность исполнить его желание, обнадежил покровительством императрицы и обещал во всяком случае убежище в России. Панин написал Шагин-Гирею (от 14 июля): «Ежели бы дела до такой крайности дошли, чтоб вы не нашли полной для себя в отечестве безопасности и дальнейшее вам там присутствие оказалось бы действительно бесполезным для вразумления татар, а для вас собственно бедственным, то от вас будет зависеть возыметь прибежище в границы ее в-ства империи». Шагин-Гирею не оставалось ничего другого, как выехать из Крыма, и он написал Долгорукому, что «бог, видно, за грехи удалил его из отечества и странствовать пустил по чужим углам и дворам». Шагин про-

сил удалить его в такое место, где бы его никто не знал. На донесение Долгорукого императрица отвечала (от 4 октября): «Калга-салтан, восприяв при обстоятельствах отечества своего, для него опасных, в границы империи нашей прибежище, совершенно достоин сам по себе, так и для могущих быть примеров, чтоб при сей постигшей его крайности видел продолжение к себе нашей милости. Мы за пристойнее, однако, находим остаться ему до времени и еще на границе, нежели взяту быть тотчас сюда ко двору нашему, ибо в последнем случае он имел бы оказаться как бы вовсе уже отторгнутым и навсегда удаленным от своего отечества и от всех татар к обрадованию и подкреплению своих недоброжелателей и к погашению памяти своей в народах, еще недавно искренно и усердно его почитавших. Итак, имеете выдать ему уразуметь сии уважения, требующие не отставать ему совершенно от татар и не казаться отчаявшимся от участия их дел и правительства, но в готовности и состоянии находящимся при первом удобном случае явиться и вступить в оное». Шагин поселился в Полтаве, получая на содержание по 1000 рублей в месяц.

Неприятные вести с Дуная, неприятные вести из Крыма, из Польши особенно неприятных вестей не было, но там дело затягивалось, вследствие чего нельзя было выводить оттуда войска.

От 18 января Станислав-Август писал Екатерине: «Среди бедствий, меня окружающих и грозящих мне, осмеливаюсь быть уверенным, что найду в вашем и-ском в-стве снисходительного судью всех моих поступков со времени раздробления Польши, судью тем более снисходительного, что в. в-ство, будучи одушевлены естественною справедливостию, собственным величием и, позвольте прибавить, прежними милостями ко мне, без сомнения, обратит внимание на все, что я должен был делать, исполняя обязанности моего места, сохраняя чистоту моей репутации, уничтожая ложные слухи, к несчастью слишком распространенные, будто я знал все заранее и даже был участником договора, лишившего Польшу части ее владений. Тяжкий опыт научил меня слишком хорошо, что недостаточно быть всегда на деле безупречным и что клевета может стать пагубною для самих государей (особенно в положении, подобном моему). Вы это знаете, и потому я верю, что в глубине своего сердца вы сами страдаете от бедствий, которые я претерпеваю; верю, что вы заняты мыслию о том, как бы их смягчить. Позвольте же обратиться к вашим старинным титулам моей благодетельницы и друга, и удостоьте меня выслушать о прошедшем и настоящем. Не теперь только я узнал трудности положения, когда нельзя соединить того, чего бы хотелось, с тем, к чему долг обязывает. Более шести лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекшей меня входить в ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на ваше импер. в-ство, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к вам для этой цели и чего я не делал для успокоения моего народа, для внушения ему начал благоразумия и его истинных интересов! И какой же результат всех этих забот? Среди народа, которому я жертвовал всем, я встретил нож убийцы, и вы, государыня, которой я не предпочитал ничего, кроме моих обязанностей, вы лишили меня части ваших милостей как неблагодарного. Таким образом, моя добросовестность была причиною моих несчастий. Но против этих несчастий неужели нет никакого средства? Ваше величество так усердно воздает почести добродетели, так ревниво бережете для себя значение ее подпоры и так достойны этого; неужели только относительно меня одного она потеряет права в вашем сердце? Нет, я позволяю себе надеяться, что я вытерпел долгое и жестокое испытание, которое должно иметь конец и получить награду. Вы можете сделать все для меня и для моего отечества. Я вполне поручаю вам свои частные интересы; но я должен ходатайствовать за этот несчастный остаток, который должен носить еще имя Польши. Вам стоит только захотеть, и все будет вам возможно. Ваши союзники уважат вашу волю, как скоро вы ее объявите. Если они заставили вас сделать

Польше зло, то заставьте их в свою очередь сделать ей добро. Приобретите перед ними эту драгоценную выгоду, столь достойную быть угодною вам. Я искал повсюду помощи и не нашел нигде. В этом беспомощном состоянии я вижу приближение минуты, когда я с моим народом должен преклониться перед роком; я это чувствую и не намерен по-пустому сопротивляться. Но прежде чем я подвергнусь ударам судьбы, умоляю, не откажите мне в утешении, сообщите мне о том, что вам угодно сделать для нас, какое вознаграждение назначает нам ваша справедливость, и, если всякая надежда спасти Польшу становится невозможной, удостоите принять просьбу о том, что я считаю необходимым в том положении, в каком Польша будет находиться, и что может хотя несколько смягчить ее бедствия».

«Ваша откровенность, – отвечала Екатерина, – заставляет меня заплатить вам такую же откровенностью. Мой характер не знает другого языка, и этот язык я употребляла всякий раз, когда говорила с вами о ваших интересах и об интересах вашего народа. Когда обстоятельства переменились и дошли до той степени, на какой находятся теперь, то мне нельзя отдельно от моих союзников соглашаться или благоприятствовать тому или другому распоряжению, более или менее свойственному положению вашего государства. Ссылаюсь на ваше величество и на публику: в то время, когда я одна принимала участие в ваших делах, не делала ли я всего, не жертвовала ли я всем для устройства этих дел в пользу республики? Доведенная до крайности интригами и партиями вашего народа, я должна была войти в соглашение с двумя другими соседями Польши, чтоб общими силами покончить с ее смутами и бедствиями, отзывавшимися и в наших собственных государствах. Несмотря на все затруднения, причиненные поляками в моих делах, я в своем соглашении с соседями не потеряла из виду блага Польши. Это благо состоит для вашего величества в целостности вашей короны, для нации – в прочном успокоении, в свободном правлении, более правильном, более спокойном, более безопасном для нее самой и для соседей. Что касается подробностей, то мой министр и министры двух других дворов снабжены одинаковыми инструкциями. Поговоривши так откровенно с вашим величеством, я бы вечно упрекала себя, умолчав, что потеряю всякую надежду видеть упрочение для вас выгод этого соглашения, если и теперь вы будете слушать гибельные советы тех, которых интриги низвергли ваше государство в пучину смут и раздоров, в анархию, грозившую ему окончательным разрушением, от чего оно было предохранено только вмешательством трех соседних держав».

Инструкции для министров трех дворов, упоминаемые императрицею, были отправлены Штакельбергу 24 февраля. В них говорилось: «Если будет замечено, что король ввиду необходимости расположен войти в виды трех дворов, то можно войти с ним в соглашение относительно направления сейма, разумеется, когда будет уверенность, что никакой интерес, никакая интрига, никакое чуждое влияние не могут тут вмешаться ко вреду трех дворов. Король исключается тем менее, что в этой чисто национальной операции признано полезным допускать деятелей всякой партии, если только они искренно захотят покончить со смутами своего отечества (эти строки первоначально были написаны рукою самой Екатерины). Министры должны иметь на сеймиках известное число верных людей; которые обязаны направлять все к предположенным целям; при назначении этих лиц надобно иметь в виду не количество, а качество. Так как одна сила недостаточна для того, чтоб заставить сеймики действовать в видах трех дворов как при назначении депутатов, так и в даче им инструкций, то необходим подкуп, для которого три двора назначают при своих министрах кассу; доля каждого двора не может быть менее 150–200 тысяч талеров. Касса находится в общем распоряжении троих министров, и без согласия всех троих не делается из нее ни одной выдачи. Агенты, зная сильную и слабую стороны каждого сеймика, дают знать министрам, какое средство должно быть употреблено преимущественно или в какой степени должны быть употреблены все средства; и министры вследствие этого извещения употребляют или военную силу, или увещание, или подкуп. Так как нет никакой возможности достигнуть чего-нибудь на свободном сейме при *liberum veto*, то

министры должны устроить сейм конфедерационный (под узлом конфедерации, как говорили поляки). Настоящие агенты, которых министры будут избирать, должны быть люди среднего класса, не связанные ни с варшавским двором, ни с саксонской партией и которые исключительную возможность улучшения своей участи будут видеть в прекращении бедствий отечества. Когда сейм начнет свою деятельность, министры потребуют от него назначения депутации для переговоров с ними; во время этих переговоров министры не позволят никакого спора о правах их дворов на области, назначенные к разделу, никакого ограничения или уменьшения участков каждого двора, должны настаивать на уступку полную и решительную со стороны республики. Министры должны вытребовать все архивы и документы, относящиеся к уступленным странам. Что касается конституции республики, то должно быть возобновлено и утверждено навсегда правление избирательное; впредь должен избираться в короли только польский шляхтич, рожденный в Польше и тамошний землевладелец; иностранные принцы исключаются навсегда. Сыновья и внуки последнего короля не могут быть избраны непосредственно за отцом или дедом, они могут быть избраны по крайней мере через два царствования. *Liberum veto* остается законом неизменным. Министры прежде всего должны иметь в виду сохранение настоящего короля на престоле. Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, Сената и шляхты (*ordre equestre*). Для этого король не должен посредством своих родственников увеличивать свою власть на счет двух других сил в государстве, следовательно, королевские родственники не должны занимать никаких должностей; но, так как нельзя лишить их прав, принадлежащих каждому шляхтичу, то постановить, что дядья, братья, родные и двоюродные короля и королевы, не могут быть министрами и гетманами, не могут быть сенаторами, воеводами, каштелянами и занимать всякую меньшую должность. Тайный совет королевский может состоять только из сенаторов, назначенных сеймом. Так как влияние короля на комиссии, военную и финансовую, возбудило тревогу в народе, то эти комиссии должны уничтожиться и должности гетманов и подскарбиев должны быть восстановлены в прежнем значении, если большинство этого желает. Только должны быть предотвращены старинные злоупотребления, у гетманов должно быть отнято право жизни и смерти над военными, и подскарбии не должны по произволу располагать деньгами республики; для этого при гетманах и подскарбиях должны быть советы, членом в которые назначает не король, а выбираются они воеводствами каждые два года. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гетманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством. Так как влияние вельмож, и именно королевской фамилии, в судах служит к притеснению народа и нарушает равновесие власти, то президенты и члены судов будут избираться дискриптами и воеводствами и должны быть изданы законы, которые бы освободили суды от всякой зависимости от короля и вельмож. Так как шляхетство, составляющее третью власть, уступает относительно влияния двум другим властям, королю и Сенату, и является периодически на сеймах, тогда как две другие власти имеют постоянную деятельность, то хорошо было бы постановить, чтоб между сеймами несколько шляхетских депутатов заседало в Сенате с правом протеста против всех решений, несогласных с конституцией или привилегиями их сословия. Так как королевские имения уменьшились вследствие раздела, то надобно прибавить к ним несколько староств, чтоб доход короля был не менее 400000 дукатов. Раздача остальных староств остается за королем; но должно быть постановлено, чтоб одному дому (*maison*) нельзя было пожаловать более двух староств, которые вместе не должны давать более 8000 дукатов годового дохода, так что если кто имеет одно староство, приносящее такой доход, то другого получить уже не может. В Польше единодушно желают умножения войска, и действительно это нужно для поддержания порядка и спокойствия; войско правительства гораздо меньше войска частных людей, которые поэтому могут безнаказанно смеяться над властью. Не будет никакого неудобства для соседних держав, если войско республики увеличится на 6000 человек. Так как

диссидентское дело есть одно из самых существенных при успокоении Польши, то три министра должны содействовать соглашению между диссидентами и католиками. С той и другой стороны могут быть сделаны уступки: диссиденты могут отказаться от вступления в Сенат и от министерских мест, а католики – от наказания за переход из католичества в другое исповедание, – это закон варварский, которого нельзя более терпеть в просвещенный век. Остальные права диссидентов должны быть удержаны за ними во всей силе» (*особенно право быть депутатом на сеймах*)

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.